

Надежда Кускова

Озерки

Саня-Маня

Саня на лавочке возле дома перебирала чеснок, счищала лишние беловатые чешуйки с налипшими на них комочками грязи; толстые, припухшие в суставах пальцы плохо слушались её, но пока всё же слушались. Плотные луковицы она откладывала в одну корзинку, переросшие, расщепившиеся на отдельные дольки — в другую. Было ясно, солнечно, но уже по-осеннему холодно, трава по обочинам тропок порыжела. Возле новой дороги травы вообще не было, всё засыпали песком и гравием строители.

Сколько ни старалась она не замечать дом напротив, всё время натякалась взглядом на него; казалось, он скалился на неё провалами пустых, без стёкол, рам. Когда-то здесь жили добрые соседи, её ровесники, Мария Ивановна и Павел Герасимович. Дети у них уехали в город, редко навещали стариков, а когда родители ушли один за другим в мир иной, совсем забыли дорогу к отчужденному дому. По наследству изба досталась одному из сыновей, самому младшему, который на городских окраинах возрос и был совсем уж беспутным. Когда московские дачники захотели купить дом, то наследника не смогли сыскать: где-то пил, с кем-то гулял, куда-то уезжал. Так и осталось разрушаться богатое доселе жилище. Рачительные местные мужички утащили двери, разобрали полы. Остался у дороги скелет дома. Жутко. Как будто покойника выставили на обозрение.

Возле магазина остановилась машина. Деревенского вида парни стали вытаскивать какие-то ящики из кузова «буханки». Саня вскинулась: «Что же это я, полоротая, здесь расселась? Начальство к нам едет, надо и мне собираться». Она заулыбалась, и улыбка, словно приклеившись, долго не сходила с её лица.

Лицо Сани, как лица всех деревенских старух, выдаёт её возраст сполна. Ей семьдесят один год, кожа на лице побурела от солнца и ветра, вся в мелких морщинках, беловатыми дорожками расчерчивающих лицо. Больше всего морщинок возле глаз — Саня посмеяться любит. Несмотря на возраст, все в деревне, даже зять, зовут её только по имени. За нрав добродушный, незлобивый, детский, за всегдашнюю готовность к улыбке, песне и веселью. А повелось всё от мужа, который, сердясь

порой на неё за безответность, неумение дать отпор обидчикам, говорил: «Эх, ты, Саня-Маня! И чего мне с тобой делать?» Муж Коля ещё молодым погиб в дорожной аварии, она замуж больше не выходила. Да и за кого? Хорошие все с жёнами живут. Одна растила четверых детей. Работала на ферме, в семидесятые-восьмидесятые годы зарплаты у доярок были больше райкомовских.

Старшие дети выросли и уехали в города, с ней осталась младшая, Лида. Здесь, в деревне, она и замуж вышла, колхоз ей дал новый дом, в своей же деревне, за речкой. Зять попался работающий, непьющий, заботливый. Правда, молчун. Слова из него клещами не вытянешь. Бывало, начнёт его Маня о семейной жизни или о детках расспрашивать, а у него на всё один ответ: «Нормально». И до недавних пор действительно всё шло в семье Лиды нормально. Жили справно, не сердя друг на друга, детей растили. А два года назад Саня стала замечать, что очень уж часто Серёга глотает таблетки. От зятя толку не добьёшься, только отмахивается: «Всё бы тебе знать, Саня». Дочь коротко объяснила, что давление мужа замучило, а в больницу не едет, всё дела держат. Стала Саня почаще, тревожась, поглядывать на Серёгу. Заметила, что глаза у него как бы помутнели, словно оловянные стали. Советовала: «Брось все дела, махни в райцентр». Последний раз он не промолчал, как обычно. Тогда она вот так же сидела на лавочке, лук обрезала, перед домом чернели разъезженные, налитые водой колеи. Серёга после её вопроса о здоровье посмотрел на неё внимательно, сказал: «Голова, Саня, болит, спасу нет». А в больницу так и не поехал. Работал он на машине, ездил в райцентр не по одному разу в день. Уставал, только из деревни на дорогу выехать — намучаешься, вся разбита колеями, тракторами разъезжена. К матери в Ивановскую тоже не один раз в неделю навещался, на машине по такой-то грязи умаешься. Как тут давлению не подскочить? Да и ей зять помогал, жаловаться нечего. Хоть кабана заколоть, хоть сено убрать в сарай — всегда к нему обращалась. Теперь вот если баранчика зарезать — нужно мужиков из-за речки просить. Там ещё есть помоложе и подельней. Не задаром, конечно, придут, бутылку или две на стол выставяй.

Два года назад не стало Сергея. Потом, после трагедии, Саня пыталась дочь: «Не сказала ли ты ему чего обидного?» Лида задумывалась, лицо её принимало такое унылое выражение, что у Сани начинало щемить сердце—так жалко становилось свою немолодую уже кровиночку. Та встряхивала коротко стриженными волосами, отгоняла воспоминания: «Нет, Саня, всё было как всегда». Старуха привычно вздыхала: «И что на него нашло? Как бес попутал».

Тот день был сиротливый и тусклый, лето шло на убыль, солнце всё реже появлялось из-за туч. Вечера и совсем были осенними, холодными. Серёга после работы решил съездить на мотоцикле к матери в Ивановскую. Взял ружьё—на это Лида не обратила внимания, он часто в лесных болотцах постреливал чирков. Саня ему говорила: «И пошто тебе, Серёга, такая мелочь?» Он не соглашался: «Вкусно-то как, да если хорошо приготовить. А Лидуха, ты знаешь, стрелять умеет». В ту поездку к матери Сергей подправил забор, забрался на чердак, посмотрел, в каких местах нужно крышу перекрыть, пообещал вместе с братом приехать в следующий раз и печной боров замазать, чтобы теплей матери зимовать было. И уехал в шесть часов вечера. Домой он не вернулся. В девять часов с дороги от Ивановской раздался выстрел. Саня сама не слышала, глуховата, зато Лида затревожилась сразу. Когда милиция прибыла на место происшествия, то и видавшие виды служивые люди были потрясены: трава у дороги, метров пятнадцать, была утоптана до земли. Саня вздыхает: «О чём он, бедный, три часа думал-терзался? Всё ходил и ходил». Выстрелил себе зять в самое сердце; сказали, что совсем не мучился.

Задумалась Саня и чуть было не пропустила праздник—открытие новой дороги вдоль деревни. Было ли такое с ней когда? Заторопилась в дом, надела красную, самую парадную, толстую кофту, чёрную юбку и тапочки меховые на резиновом ходу. Успела-таки, старая. Машины с начальством только-только к магазину, где коробки нездешние парни устанавливали, стали подъезжать. Музыка из коробок этих, усилителями называются, на всё село грохочет, Саня, приподняв руки на уровень плеч, подошла к магазину танцующим шагом, хотела так по кругу пройтись, да дочка её остановила: «Уймись, Саня!»— «Да разве не праздник сегодня?»—удивилась мать, но дочку, так и быть, послушала. Встала напротив микрофонов в ряд со своими сверстницами. Молодых почти никого не было, они все за речкой живут и очень разобиделись, что старухам дорогу построили, а их оставили со старой, разбитой. Впрочем, не все и старухи были довольны. Бледнолицая бабка Анна, приползшая от своего дома на двух клюшках, всё грозила: «Приедет начальство, я всё скажу.

Нечего показухой заниматься. Много ли сделано? И дорога не асфальтовая, насыпь простая».

Из нарядных машин стали выходить начальники. Две старухи по кивку заведующей клубом понесли почётным гостям пироги. Те взяли по одному, деликатно по кусочку попробовали. Саня смотрела на их не по-здешнему загорелые гладкие лица. Одежды они были тоже так, как никто в деревне не одевается, что-то незаметное для глаза, но такое ловкое и удобное, что даже не поймёшь, толст человек или только в меру упитан. В светлом костюме—губернатор, в тёмно-синем в тонкую полоску—глава района. Старухи с клюшками перед ними, в тапочках и вязаных кофтах, выглядели так, как будто с поля пришли, словно и не наряжались к празднику.

Как и намечено было по сценарию, благодарственное слово за возведённую дорогу должна была говорить самая старая жительница села, Евдокия Ивановна. Она с клюшечкой и подошла к редким гостям, но о чём она говорила, Саня не услышала, гремела музыка, слова старушки потонули в ней. К тому же Саня наблюдала одним глазом, как к руководству безуспешно пытается прорваться бабка Анна, её держит мощная дебелая староста, женщина лет за пятьдесят, уговаривая свистящим шёпотом: «Люди с благотворительностью приехали, а ты хочешь всем настроение испортить? Подожди, я сама всё нужное скажу». Потом губернатор, стараясь быть приветливым и своимским, заверял, что дорога будет построена по всей деревне, что вместе с ней и жизнь изменится, надо только не дремать, развивать экологический туризм.

Саня тогда не очень поняла, что это такое, да начальству видней, туризм так туризм. Об одном догадалась старая: будут приезжать к ним в село люди, а с ними станет оживлённей и веселей.

Говорила и староста, подобострастно и превеличенно благодарила за дорогу. Саня про себя отметила это, но не удивилась, даже не поморщилась: руководители любят, когда подмастлишь. Сама она притворяться не умела, но других не осуждала. Было стыло на сквозном ветру. День стоял ясный, прозрачный от холодного солнца и синего бездонного неба. Саня улыбалась. Ничего, что холодно. Зато красиво как. Через дорогу стояли наполовину жёлтые берёзы. За ними в поле присела тройка аистов. Вчера, когда шла из магазина, аисты ходили почти возле самых домов, такие стройные и беззащитные на холодном ветру. Саня достала шоколадные конфеты из своей чёрной дерматиновой сумки, развернула фантики, спустилась с насыпи и каждому положила перед клювом. Склевали за милую душу, не жадно, но с аппетитом. Теперь вот, похоже, в дорогу собираются «Вернутся ли?»—подумала старуха и, по всегдашней привычке думать обо всём легко, сама же себе и ответила:—Конечно, вернутся. Их здесь любят».

Аисты не вернулись ни на следующую весну, ни год спустя—перекочевали, верно, поближе к родным чернобыльским местам. Но Саня каждый год их поджидала и, не дождавшись, расстраивалась не на шутку: событий весёлых в деревенской старушечьей жизни не так уж и много.

Годы капали, как вода из худого рукомытника, неторопливо, но и неумолимо, деревня усыхала, ровесники отправлялись на кладбище, молодые—в города. Как и наказывал первый губернатор, организовали в деревне музей. В несколько пустующих изб набрали старых с подзорами лавок, установили вдоль стен; столов, утвари всякой, прялок и ткацких станов. На дворах, тоже как при хозяевах, косы, грабли, вилы стоят... Музейщики—бывшие учителя. Школу-восьмилетку закрыли—куда им податься? Бабы платки на голову—и комедии перед гостями разыгрывать, показывать, какие чудеса вдалеке от Москвы творятся.

А и правда чудеса. В округе не осталось ни одного колхоза, земли пустуют, хозяин у них не объявляется. Один Михалыч, бывший председатель, работу давал: льнозавод выкупил да немного земли, выращивали лён, сдавали тресту, какие-то деньги зарабатывали. Она, Саня, и то, не гляди что в годах, ходила лён поднимать не раз. Молодость вспоминала, тогда льна много растили, и старики, и дети на стлицах снопы вязали. Ей, девчонке, нравилась такая дружная работа, она торопилась навязать больше снопов, успевала с подружкой Машей, той, что сейчас живёт по соседству, словом острым перебростится, часто смеялась, на что мать, работавшая тут же, сердилась: «Ворона в рот залетит, Санька!»

Михалыч умер внезапно—то ли сердце, то ли инсульт. Хорошие люди долго не живут! Горевали всей округой, говорили между собой, что такому надо было в Думу идти или губернатором. Дело понимал, да и не раз говаривал, что на крестьянине Россия стоит: отбей от земли человека—с кем останешься? С плутоватым торговцем или лакействующим деревенским музейщиком, который и слова не скажет гостям о страшной трагедии вымирания? Стареющие парни всё хохмят, гостей веселят да кадрили отчебучивают, за которые в пятидесятые годы молодёжь из клуба выгоняли—бескультуры! И тогда через коленку ломали уклад деревенский, привычный. Долопались!

...И прошёл слух: едет губернатор знакомиться с деревенским народом. Не тот, молодой, седовласый, в светлом костюме,—он давно деньги получает в столице за другое, и не второй, похожий на ёжика, его назначили в область прямо из охраны какого-то большого московского человека. Недолго продержался, да и в деревнях его не видывали. Теперь третий, московский тоже, объезжает свой приход.

Саня собралась к назначенному часу старательно, надела всё ту же красную кофту, что и десять лет назад, хорошо сохранилась, некуда носить, моль только в двух местах проточила, да это ничего, заштопала аккуратно. Сверху полшубок овчинный наинула, дочка со своего плеча пожаловала, клетчатый полушалок на голову, батожок в руки—и на крыльцо, вдохнула полной грудью морозный воздух. Яркие белые поля глядели радостно. Дорога гладкая, вычищенная, хоть яйцо кати. Саня чуть не засмеялась—так хорошо стало на душе, Божья радость посетила.

Соседку Марию Павловну через забор у поленницы дров увидела, не здороваясь, звонко, не по-старушечьи, крикнула: «На встречу пора!» Соседка, с охапкой дров в руках, распрямилась, секунду внимательно смотрела, словно размышляя, на Саню-Маню, потом сухоовато, не повышая голоса, ответила: «Не приглашали».

Встретиться с новым губернатором у Сани не получилось. На пороге избы музейной её остановила раскладистая староста, неожиданно строго спросив: «А ты куда, Александра Фёдоровна?»—взяла мощными руками за плечи, развернула и вывела на крыльцо, там уже извинительно зашептала, приближая к ней своё большое мясистое лицо, что губернатор встречается с нужными людьми, что она всех остальных предупредила, чтобы носа на улицу не казали, а если и увидят начальство—языка не высовывали. Саню только дома не застала. Она, староста, не сама придумала, так велено—накануне позвонили из администрации. «Они,—кивнула она на закрытую дверь,—всё скажут».

Сане обидно и неприятно, что её, как мусорину из избы вымели, слёзы навернулись, но сдержалась, не заплакала, а через десяток шагов уже потихоньку смеялась, вспоминая напряжённое лицо старосты, её тревожные глаза-буравчики. Не позавидуешь человеку, должность хуже собаки: дворняжка дом от чужих стережёт, этой от своих приходится оборонять начальство.

Она не верила словам старосты, что расскажут губернатору о деревенских бедах: видела в раскрытую дверь бывших учителей, один—в бабьем платке, выступали перед загорелым, несмотря на зиму, мужчиной, а в соседней комнате, куда тоже дверь была растворена, стол от закусок ломился, стояли и графинчики.

Потом медлительная волнующаяся молва донесла до неё, что тарелки, по тысяче рублей каждая, специально для этого случая заняли в городском ресторане и поваров выписали из райцентра—закуску готовить.

Круглый сирота

Бомж сидел на мокром асфальте, прислонившись спиной к деревянной жёлтой обшивке ларька.

Звали его Сергеем, а в городе пристала к нему давно кличка Серый.

Одна нога в грубом, плохо зашнурованном ботинке выставлена вперёд, другая неестественно круто загнута назад: верно, вывихнута в колене — так здоровую ногу не загнёшь. Его косматую, давно не мытую чёрную голову обильно поливает капель с крыши. Но он словно и не чувствует её, даже не пытается сдвинуться с места.

Карие, в красных прожилках, широко распахнутые глаза напряжённо и мучительно смотрят вверх. Под грузным комом тела растекалась красная лужица мочи.

Может, даже и не видел Серый никого вокруг... А людей в этот утренний час шло немало, на работу торопились. Одни, стараясь не замечать жуткого вида бомжа, косили глазами в сторону, нагибали голову. Несколько человек неподалёку, маленькая толпа зрителей, стояли, как на похоронах, тихо. Я растерянно остановилась: погибает человек, надо что-то делать, в скорую звонить, в полицию. — Позвонили уже, — сказала широколицая пожилая женщина в розовом берете.

Мысли читает? Скорее, я не заметила, что выказалась вслух.

Крашенные розовой помадой широкие и длинные губы женщины вздрагивали, придавая ей сходство с симпатичной лягушкой, может, даже царевной. Несмотря на тяжёлый дух, шедший от бомжа, она подошла к нему вплотную, громко сказала:

— Отодвинься от капели, я тебе помогу.

Бомж глазом не моргнул, не пошевелился, так же глядел перед собой, выставив вверх цыганское чумазое лицо.

Сбоку остановились двое парней, да и не парни вовсе — парнишки самой первой молодости: невзсокие, узкие в плечах и бёдрах, в тёмных курточках и капюшонах, надвинутых почти на самые глаза. Постояли беспокойно, как-то странно подёргиваясь, пританцовывая на месте; было что-то тревожное и злобное в этом мельтешении. Через минуту повернулись, пошли откуда явились. Подъехала скорая, стали загружать бомжа на носилки... Он застонал.

Выглянуло из-за тучи солнце, окинув сиянием младенческую листву ближней берёзы, в проёмах туч ярко засинели бездонные небесные колодцы. И словно теплей стало вокруг.

Я шла на работу в редакцию местного радио, угловую комнатёнку в казённом здании, и утешала себя мыслью, что Серый попадал в разные переплёты в своей странной и не каждому понятной бездомовой жизни. Но оправляясь, выживал и снова как ни в чём не бывало курсировал по улицам городка, выпрашивал денег на «булку хлеба», пьянствовал, ждал на лавочке с утра вместе с другими страждущими открытия магазина...

В маленьком городке люди все на виду, и я помнила Серёжку симпатичным темноглазым мальчишкой, живущим в ладу с родными и близкими. Особо с бабушкой, бледной болезненной старушкой в вечной телогрейке, с унылым взглядом бледно-серых глаз.

Бабушка, умирая, просила у всех проходящих её навестить пять рублей. Ей деньги давали, а муж младшей сестры, тоже уже старик, дал ей в пять раз больше, спросив при этом:

— Маша, а зачем тебе деньги?

Она попыталась улыбнуться тонкими безжизненными губами и слабо выдохнула:

— Серёньке отдам.

Серёнька, готовившийся в это время служить в армии, к бабушке заходил раз в неделю, и тогда она вытягивала из-под подушки носовой платок с завернутыми в нём пятёрками. Он, пока никого из посторонних не было, сгробал их к себе в карман и, сказав два-три слова, уходил домой. Жил он один в однокомнатной квартире. Её получала в очереди на жильё мать, работавшая лет тридцать в швейной мастерской. Порадоваться новой жизни она не успела, умерла от рака ещё не старой женщиной. Отец Сергея покинул бранный мир ещё раньше, задавившись в платяном шкафу поясом от халата своей жены. Станный человек, вбил себе в голову, что болен неизлечимой болезнью, но при вскрытии оказалось: здоров, жить бы и жить ещё!

На похоронах бабушки Сергей стоял у гроба, склонив кудрявую, давно не стриженную голову. Он не плакал. Вся родня его жалела: такой молодой, а уже круглый сирота. Расставаясь, все дали ему денег, как когда-то давали бабушке.

Из армии он вернулся другим человеком, разговорчивым и разгульным. Компании в его квартире не переводились. Правда, девиц он к себе не водил, признавался, что это для него хлопотно. Заботься о них, корми, пои. С мужиками пить проще — всё на паях. Два или три раза Серый переночевал в кутузке за нарушение правил общественного порядка. Потом его судили за кражу двух соседских кроликов.

Он год отсидел в колонии и воровать больше не хотел. Но и на работе удержаться не мог, даже на самой простой, сторожем. Как-то летом, когда он почти не ночевал дома, соблазнился на ящик водки, посланный ровесником-азербайджанцем, и променял на него свою квартиру. Так круглый сирота стал бездомным. Приспособиться к новой жизни ему не составляло труда. Он спокойно выходил в центр города, так же спокойно останавливал знакомых и незнакомых фразой:

— Можно спросить?

И когда клиент придерживал шаг, продолжал монотонно, но скроив при этом умильную рожу: — Дай мне на булку хлеба.

Отказать в такой малости редко кто мог. Собирались денег и не на одну булку. Можно было купить и несколько «фанфуриков» — пузырьков с настойкой боярышника на спирту. После обеда Серый багровел лицом, соловел глазами и шёл в подвал многоквартирного дома, как он говорил, отдыхать. Летом, когда в город наезжало много туристов, бомж жил припеваючи. «Дедушке», как называли его гости города, — а он, заросший волосами, в старой, с чужого плеча одежде, и впрямь выглядел немолодо — подавали много и охотно. Жалко же, такой одинокий, заброшенный. Ему к этому времени едва исполнилось сорок лет.

Я припомнила, как однажды Серому вместо денег подала буханку хлеба. Что просил — то и получил! Протянула — лицо у него стало такое, как будто стакан уксуса хватил. Но сдержался, ничего не возразил. Серый был по природе негрубый человек.

Иногда его пытались усовестить. Приезжая, видимо москвичка, упирая на «а», однажды, слышала, выговаривала:

— Мужчина, зачем обманывать? Просили на хлеб, а покупаете сигареты!

— Жалко, что ли? — нелюбезно буркнул Серёга, резво уходя от назойливо преследующей его женщины.

А над всеми этими воспоминаниями наплывал его мучительный, больной собачий взгляд, который только что видела и который, казалось, говорил: что толку жаловаться? — никто не поможет.

На волжском бульваре, под столетними берёзами, увидела подростков, все были в невзрачных курточках с капюшонами, надвинутыми на глаза, в коротеньких брючках, из-под которых выглядывали голые лодыжки. Неприятно удивило, что среди них были и те двое, которых, заприметила у ларька. Оказывается, всю дорогу, не замечая, шла за ними. Вели себя ребята беспокойно: воздевали руки, вертелись, выкрикивали что-то неясное, то и дело слышалось «блин». Раздавались и девичьи пронзительные голоса. Солнце снова пробрызнуло сквозь тучи и ветки деревьев, осветило нездоровые, сероватые лица подростков.

И вдруг, словно специально для меня, ломающийся басок внятно произнёс:

— Не до конца... Увезли в больницу... Если выживет, смотрящий не похвалит...

Не связывая всё происшедшее за нынешнее утро воедино, всё же забеспокоилась, ускорила шаги, чтобы побыстрее проскочить тревожную зону.

За дневными хлопотами по составлению еженедельной пятидесятиминутной программы радио о жизни города и района (я — главный редактор, я же и корреспондент, всё в одном лице) утренние тревоги не то чтобы забылись — отодвинулись в сторону. К тому же, как не раз изрекали

нравоучительно местные чиновники, в нашем городке ничего противозаконного и, упаси Бог, преступного случиться не может. Люди не такие.

А через несколько дней, бегая с диктофоном за новостями, встретила почти на том же месте, где последний раз сидел бомж Серый, знакомого фермера, моего постоянного автора.

Фермер год от года увеличивал поголовье романовских овец, над которыми нависла угроза исчезновения с тех пор, как рухнули колхозы. Был он инвалидом первой группы, без пальцев на обеих руках, потерял по молодости в аварии. Но, выходит, некому, кроме него, «вагу» эту поднимать.

Мой знакомый, как всегда, был в аккуратном отглаженном, старом, протёртом до лоска чёрном костюме, седыми длинными волосами играл тёплый майский ветер. Рассказал мне о своих новостях, я ему — как Серого последний раз вот здесь, у ларька, увидела.

Он усмежнулся.

— Сам выбрал, что хотел, — сказал, равнодушиная, но тут же загорячился, всплеснул мозолистыми ладонками без пальцев: — Прошлым летом к самому лёгкому делу его приставил, мальчишка десятилетний справится, а Серый — не смог!

Оказывается, было и такое невероятное событие: пытался работать Серёга-бомж.

Стояло тёплое ласковое лето, самое благодатное время для вольной жизни, но Серый давно не ел горячей пищи. А на хуторе обещали его кормить за одним столом с хозяевами.

Для нового работника истопили баню, фермер сам тёр ему спину, потом выдал старенькую, но чистую и зашитую одежду. Они позавтракали тёплой кашей из печки, хлебом и киселём, а потом хозяин показал работнику поле картофельника, ряды всходов тянулись до самого леса, их нужно было окучивать.

— А если жарко будет? — спросил с надеждой Серый хозяина.

— Мы и в жару работаем, — коротко отозвался тот и ушёл по своим делам.

Целый час Серый пытался окучивать картофель; правда, выбирать сорняки ему не хотелось, и он заваливал их пластами земли: всё равно не видно. Через час он нашёл за домом фермера и протянул ему свои смуглые пухлые ладони, на них краснели пузыри мозолей.

— Я тебе голицы давал, — удивился тот.

— Я в голицах и окучивал, — скорбно вздохнул новый работник.

В обед хозяйка, недовольно поджав губы, кормила его борщом, тушёной и салатом. Серый наелся на два дня вперёд. А вечером, поставив в угол сарая тяпку и надев предусмотрительно сохранённое своё рваньё, учимчиво с хутора. На закате он уже выпивал и закусьвал на берегу Волги, лёгкий ветерок овеивал разгорячённое лицо.

Спокойствие и мир вокруг. Больше ничего и не надо. Редкие прохожие слышали, как Серый бормотал себе под нос:

— Ишь чего захотел — горячей пищи! Ну и получил!

О своей неудачной попытке начать новую жизнь божь никому не рассказывал, и правильно — не поймут. Во всяком случае, я ничего такого от него не слышала.

Мой знакомый фермер немножко резонёр, после этой истории начинает рассуждать о понятных вещах. О том, что некоторые люди не хотят жить своими трудами. Пытаются прокатиться за счёт других. Такие, как Серый, — парии, презираемы. Ну а кто многих обобрал за счёт удачной спекуляции или крупного воровства — те «элита».

— А Серёга вчера умер в больнице, — неожиданно буднично закончил он. — Избили его всё-таки до смерти. При нём даже паспорта не оказалось.

Озерки

Туманным октябрьским днём старик Виноградов — с тех пор, как он похоронил жену, соседи стали называть его так, без имени и отчества, — вышел из дома. Сын из соседнего города навещал его редко, внучата — ещё реже, и эта долгая прогулка была у него главным событием дня.

Фигуры встречных слегка размыты туманом, да он и не всматривался в лица прохожих: приятелей и приятельниц с каждым годом становилось меньше, с одними своими сверстниками он раззнакомился по самым нелепым причинам, другие отправились в мир иной — а и те, кто оставался ещё в друзьях, сидели по домам, исполняя приказ чиновников не покидать свои жилища во избежание заражения болезнью, вызывающей опасные осложнения.

Жена Нюся умерла не от этого странного вируса. Два года лежала в кровати с безжизненным искажённым лицом, молчала, часто отворачивалась к стене и ни на что глядеть не хотела. Устраивал в больницу, добился путёвки в реабилитационный центр. Всё бесполезно...

Он вышел на набережную, звуки шагов приглушались туманом, но внизу шумно плюскали о камни волны. Виноградов подумал, что скоро ветер очистит и реку, и набережную от влажной наволочи. Ивняка, чернеющий на противоположном, правом, берегу Волги, побуреет, а голые серые берёзы зарозовеют своими узорными кронами.

Навстречу шла совсем юная парочка — тоненькие, ладные, резвые. Не доходя до старика шагов десять, ребята остановились, парень в красном пуховике порывисто привлёк к себе спутницу, поцеловал раз, другой. Старик хмыкнул, то ли одобрительно, то ли завистливо. Хотя что уж тут завидовать — к своим восемнадцати-двадцати

годам он совсем не хотел бы возвращаться: страстей много — ума мало.

Вблизи парень — высоколобый, с широко расставленными и растерянными, а может, просто близорукими, глазами, — кого-то сильно ему напомнил, и старик ещё раз пристально глянул на него. Это не понравилось. Голос, решительный и резкий тенор, явно взволнованный излишним вниманием, не вызался с неуверенным взглядом: — Дед, дома надо сидеть. Всем после шестидесяти не велено высовываться на улицу!

Старик благодушно рассмеялся: он понял, кого напоминает ему этот мальчишка, и с чувством продекламировал:

Не спасёшься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

Посторонним людям он никогда не читал стихов: не хотел обнажать сокровенные движения души. Но здесь — особый случай: можно сказать, родно нашёл!

— Маринка, да это поэт! Не каждый день поэта на улице встретишь, — дурашливо вскричал парень. — Да не я это написал, где уж мне! Николай Степанович Гумилёв, русский поэт-воин, — с усмешкой поправил старик.

И, опасаясь, что новый знакомый со своей молчаливой спутницей двинется дальше по берегу, девчонка уж с ноги на ногу переступает, торопит, спросил поспешно:

— Скажи-ка, Анатолий Грудинкин тебе не дедом приходится?

— Марина, иди, — парнишка покраснел от волнения, выпустил руку спутницы, — я тебя догоню. Это мой отец. Вы его знали? — он напряжённо смотрит на собеседника, на гладком лбу продольная морщинка обозначилась.

— Арсений Петрович Виноградов, — назвал себя старик. — Мы с Анатолием вместе росли в деревне Озерки! Тебя как зовут?

... После разговора с Арсением Петровичем Гена Грудинкин смутился духом, потерял интерес к подружке Марине, перестал ей звонить, вместо этого ждал на набережной в урочный час своего нового знакомца. Подружка злилась, не раз вызывала по телефону Генку сама, ругала старика чёртом, связавшимся с младенцем. Вопросила язвительно: «Что интересного ты нашёл в этом старом пне?»

Ничего не объяснял подружке, бормотал торопливо в трубку, что потом всё расскажет. Но уже стал понимать, что, пожалуй, разговора этого не состоится никогда. Достала!

Тогда, после первой встречи с Арсением Петровичем, он с ликованием догонял Маринку на

набережной, путаясь в словах, объяснял, какой это *здоровский* старик, друг детства отца. Ждал улыбки доброй, взгляда умного. А услышал холодный и даже пренебрежительный вопрос:

— У тебя мог быть такой старый отец? У меня и не старый, да с ним — скучища! То не делай, сюда не ходи — все и разговоры. Думаешь, у тебя было бы по-другому? Ещё хуже — со стариком!

Лучше бы она молчала, если нет понятия! Мать Генкина отцу по возрасту в дочки годилась, а мо- ложе себя не чувствовала, широкая, тяжелоступая. Уж если у неё что заболит — и отец, и Генка, и соседи знают, сочувствуют. Отец говаривал в утешение: «Гаяля, скрипучая олешка дольше живёт». Сам он никогда не жаловался на болячки, иногда шутил: принял с утра *облатку* — и здоров. *Облатками* он называл таблетки — наверное, это слово было из его дальнего деревенского детства.

Геннадий часто думал об отце. И всегда первой такая картинка в памяти всплывала. Осенний пасмурный день. Из-за сумерек и проспал, сколько мать ни говорила, что пора в школу. Наскоро поев, бежит с крыльца, ранец по спине громыхает.

Отец уже в колхозной конторе побывал, прика- зания на время своего отсутствия отдал, зачем-то ещё завернул домой, теперь во дворе в «газик» садится, в город собирается. Завидев растерянную мордашу сына, хватить под мышки — и через дере- вянный забор плавно опускает его на тропинку во двор школы: не бежать двести метров в обход всех заборов. Да ещё словечко бросает бодрое: «Не дрейфь!»

И сейчас бы помог... Ну разве виноват он, Ген- надий Грудинкин, что нет ему в городе жизни? Два раза опоздал на завод — уволили. Секунды на про- ходной считают. Никому не интересно, что пере- путал автобусы, добираясь со съёмной квартиры.

То ли дело в деревне — простор и воля! Завёл трактор — и в поле, работаешь без надсмотрщиков, раз-два за день завернёт бригадир или агроном...

Только нет сейчас и колхоза, и тракторов, а поля заросли лесом. Отец, наверное, в гробу перевора- чивается: так старался для колхоза — и всё прахом пошло! Теперь никому Генкино мастерство, да и сама его жизнь — не нужны. И думал он не раз, что отец умер — и унёс с собой ту устоявшуюся беззаботную жизнь.

Кажется, уже во вторую встречу Арсений Пе- трович спросил его, был ли когда-нибудь в Озер- ках. Гена замялся с ответом. А старик, не замечая смущения, продолжал допытывать: был — не был с отцом в деревне, а если был, то что запомнил?

Запомнил, хоть и малышом ездил. Дорога плохая, грунтовая, голова так трясётся, что, гляди, отва- лится. А километра за два, может, за три, при- шлось оставить машину и идти пешком по тропке. Отец с рюкзаком впереди, Генка за ним поспекает.

Если дремучие со всех сторон обступают, толстые корни вспухают из земли, будто ловят пешеходов, того гляди заплнёшься и растянешься на жёлтой опавшей хвое. Дремучий лес, не зря его назвали люди Пугино.

А отец бодрый, весёлый, что-то напевает, обры- вает песню, толкует:

— Здесь я, Генаша, в молодом лесочке грибы соби- рал. Такой же, как ты, был. Погляди-ка, вон в том осиннике нет ли боровиков? — махал рукой на поросшую осокой низинку.

Набирал он тогда по отцовским подсказкам огромный пакет грибов. Наверное, здесь никто ими и не интересовался. Да и кому? В Озерках уже тогда три старика жили.

— И я пока не побываю в Озерках — не умру, — ска- зал Арсений Петрович как о деле давно решён- ном. — Пойду поклониться родине. Старая дорога, думаю, заросла. Если бы кто-нибудь показал, где идти...

Помолчали. Геннадий с сомнением смотрел на старика. По виду вроде ещё и крепок: прямой, высокий, шаг уверенный, из-под козырька низко надвинутой замшевой кепки живые карие глаза доброжелательно смотрят. Но это здесь он такой, а на непроезжей дороге каково ему будет? Всё- таки годы...

И снова старик забеспокоился: скорее всего, и нет никакого пути на Озерки. Нет людей — нет и дороги.

Генка, жалея, утешил: — Бабушка одна там, говорят, живёт. Откуда-то приехала, поселилась в старой избушке Голубевых. Раз в неделю за продуктами через всё Пугино за семь километров в жилую деревню ходит.

Спыхватился, что проговорился, а старик кле- щом вцепился:

— Знаешь, Генаша, дорогу? Покажешь?

— До весны подождать надо, — нерешительно предположил молодой.

Но Арсений Петрович думал иначе.

— Смотри, — кивнул он, на жёлтые одуванчики на склоне, — они разве ждут? Студёно, но они торопятся бросить семена в землю. Весной могут не успеть — скосят. И у меня нет времени ждать. Пойду, брат!

Генка разозлился, кивнул головой на проща- ние — не так же уходить? — и большими шагами пошёл прочь. Он не то чтобы не умел заглянуть в свою душу, а даже понять, откуда взялась эта злость, не силится. Разозлился — и вся недолга!

Оставшись один, уже корил себя: оставил Арсе- ния Петровича в недоумении. Представил его взгляд укорный. Разве он в чём виноват? Такой-то старик!

И ещё пришла неожиданная мысль: а что, ес- ли бы это был отец и попросил проводить его

в Озерки? Да на руках бы донёс! И тут же хохотнул, представив, как несёт мощного отца на своих тонких, хоть и не хилых, руках.

А Арсений Петрович, глядя вслед необычно быстро удаляющемуся собеседнику, ругал себя: старый тетерев, растоковался не ко времени—мне надо, не умру, пока не побываю... А где ты, Арсюша Виноградов, был всю долгую сознательную жизнь? Руководил конструкторским бюро—но отпуска были. Анатолий Грудинкин возил позднего сына в Озерки. А ты своих—всё к морю да к морю, адепиды-гланды лечить. А скорее, чтобы от массы заводской не отстать: ах, какая прелесть—мы отдыхали в Болгарии на море, а мы, того лучше, в Грецию путёвку купили. Он даже плюнул с досады.

К старости дачей с женой Нюсей увлеклись, да и не увлечение это, а необходимость: для детей-внуков овощи чистые, без химикатов и ядов, растить. Ну и самим, казалось, без этого не прожить. Но на день-другой можно было съездить в родные места! Не съездили.

Нет, брат Арсений, мало думал ты, мало помнил о своей лесной деревне, где воздух пах хвоей и травами, где люди росли крепкими, сильными и вольными и куда затянуло-запутало травой забвения все пути-дороги. На парня надел: веди, показывай! А хочет он того? Может, считает, что не заслужил этой милости старый дружок его отца?

Впрочем, через три дня они вдвоём—старый и молодой, покинув вдруг и сразу опустыленный город, шли от асфальтовой дороги по осеннему бурому оголившемуся лугу к лесу. День был сумеречный, унылый, с низкими, угрожающими дождём тучами. Но Арсений Петрович бодро поспевал за широко шагающим молодым другом и толковал возбуждённо:

— Ты мне, Генаша, только покажи эту лесную глобочку, а дальше я сам.

Геннадий удивлялся:

— Отец тоже называл тропку глобочкой. Не всегда, а вроде бы как в шутку. В Озерках так говорили? — И не только... Во всей округе по глобочкам ходили. Много слов сейчас забыли даже деревенские... Да и я в городе не больно вспоминал.

Дошли до того места, где тропка ныряла в еловый лес. Стал сеять мелкий дождь, и под низкими сводами лапистых ветвей оказалось совсем темно, почти как в тоннеле. Геннадий выругался:

— Фиг с ним, — и шагнул первым на едва видимую колею от ручной коляски. Проглядывались и небольшие аккуратные следы сапог. — Дядя Арсений, я тебя в такую тёмку одного не отпускаю.

— А чего ругаешься, названный племянничек? — радостно отозвался старик на новое обращение. — Там узнаешь, — коротко отозвался Геннадий и замолчал.

Арсений Петрович на эти многообещающие слова внимания не обратил, оживился, разговорился,

принялся вспоминать, как ходили с Анатолием Грудинкиным на росянки в Перхулово и в Ожино. — Росянки—это, брат, что-то вроде теперешней дискотеки, только на улице. Дробили так, что траву до земли продавливали. Люты были гулять. Раз пришёл домой на рассвете, мать уже встала, скотину обихаживает, виду не подаёт, что недовольна. Но посылает на покос, одного. Усадьба стояла ещё некошеной. Выкосил в середине круг, сгрёб копёнку, бросил на неё кацавейку, да и спать завалился: устал на росянке—спасу нет. Прорнулся от крика: мать пришла работу принять да траву поворошить, а увидев такое безобразие, костерить меня почём зря принялась, а потом схватила косу—да косьём по моим бокам. И ничего не скажешь и не сделаешь: виноват! Ну, бей, говорю, бей...

Арсений Петрович задел нечаянно за молодую ёлочку, брызнуло ледяной водой, как из душа. Старик хохотнул. Ничто, казалось, не могло испортить его хорошего настроения. А Генка хмурился, молчал, думал раздражённо, что его спутник всё-таки очень легкомысленный человек. Заладил: пойду да пойду в Озерки. А хватит сил? И сейчас устал, пыхтит, как ёжик, шагает не ровным своим молодецким шагом, а будто бы враскорячку. А если бы сбился с пути?

Вышли в голое поле. Ни неба, ни земли не видеть, серая толща мороси, словно бредут по дну морскому два путника. Присмотревшись, Арсений Петрович различил справа развалины церкви, слева остатки избы. Серые брёвна торчат вкривь и вкось. Дальше и вовсе от строения остался один фундамент. Только сарайка полностью уцелела из всей деревни, её крыша виднелась у леса, туда и вела тропинка. Тишина. Даже ворон не видно и не слышно. Тяжело в мёртвом селе, словно воздух стужился и давит. Не сговариваясь, путники прибавили шаг.

Увидели у леса потемневший срубец высотой в два бревна. Виноградов припомнил, что это родник, вода здесь всегда была очень чистой и даже целебной. Решили набрать её с собой. Долго пытались приподнять крышку, сначала старик, потом Геннадий. Она не поддавалась, заколодела.

Наконец Гена поднатужился... И на секунду потерял дар речи, а старик охнул обречённо: вода в роднике ржависто-красная, с пеной. Откуда такое? Тихо опустили крышку на место... Нехорошо на душе, смутно.

— Уже немного идти осталось,—приходя в себя, негромко сказал Генка,—километра полтора.

Виноградов ответил и вовсе шёпотом, так при покойнике говорят. И всё казалось ему, что чьи-то печальные глаза следят за ними из толстой серой толщи мороси. Старик уже пожалел, что отправился в этот длинный путь. Что в Озерках его ждёт? Что он ищет в этой вымороченной пустоте?

Да и недовольный вид молодого друга укреплял в самых худших предположениях.

...Озерки тоже была пустынно, но порадовали несколькими домами, имевшими вполне жилой вид. Верно, дачные, а в одном, несмотря на дневное время, огонёк светился. Арсений Петрович приободрился, предложил спутнику:

— Давай-ка, названный племянничек, пойдём, представимся хозяевам. Объясним, кто мы есть.

Генка смущённо улыбнулся и отказался наотрез, сказал, что подождёт на улице, что ему неудобно, а когда старик чуть не силой подтащил его к резному потемневшему крыльцу, он, покраснев, выпалил: — Да я с этой старухой ещё летом вдрызг разругался. Разве она меня пустит к себе в дом?

Арсений Петрович удивился, руку с Генкиного плеча снял:

— И что же вы делили?

Генка усмехнулся значительно, а большие серые глаза оставались растерянными.

— Моё несохранившееся наследство, — и торопясь, проглатывая окончания слов, стал рассказывать. — Дядя Арсений, да ведь я ничего плохого не делал. ..Ну да, конечно, дурак, пришёл в пустую деревню с металлоискателем. Думал, что в пустую... По дедовской усадьбе шастал. Место — как плешка, дом увезли, поставили в другой деревне, один дуб в два обхвата стоит, перед войной, говорят, дед сажал. Я покажу. Сказала мать как-то, что отцова семья была небедной. Раскулачивали, выселяли из дома. Потом свой же дом выкупали. Наверняка успели припрятать какие-нибудь ценные вещи, деньги, может, и золотые... Думаю: сто пудов — лежит где-то клад! И что дед спрятал, значит, теперь всё моё, других наследников нет! Тут старуха выскочила, от калитки не отходит, а орёт громко: «Убирайся!» Я, конечно, ушёл, но горяча ответил как положено.

Арсений Петрович, слушавший внимательно, заключил:

— Плохо, Геннадий. Но это мелочи. Не волнуйся, я вас помирю, — и деликатно, но настойчиво стал стучать в оконный переплёт.

Не первый раз Генка подумал, что старик легкомысленный не по возрасту, но теперь уже не с досадой, а со смешанным чувством ожидания и облегчения. Ответа не было. Старик подождал немного и снова постучал. Послышались быстрые

шаги, приоткрылась входная дверь, на пороге — женщина, тёмные волосы с проседью забраны в низкий узел, пальто стёганое наспех накинуто на плечи. Арсений Петрович искоса посмотрел на Гену: где же ты, братец, старуху увидел? Зелёными большими глазами, крутым лбом, на который прихотливо падали кудряшки, круглым носом она ему напояла... — Здравствуй, землячка. Я — Арсений Петрович

Виноградов, мои родители в Озерках жили, моя юность здесь прошла. А это...

— А это сын Анатолия Максимовича Грудинкина, — виновато улыбнулась женщина. — Я летом не сразу догадалась, ругать принялась. Ты уж извини, — обратилась она к Геннадию. — Напугалась я тогда. Только в деревне поселилась. А когда ушёл, тогда и поняла, что свой человек. Отец твой часто сюда заглядывал, похож ты на него очень. Заходите, что мёрзнуть на улице? Чаем напою, — и она, распахнув настежь серую от непогоды толстую дубовую дверь, на ходу договорила: — А я Нона Голубева для вас, Арсений Петрович, а для него, — женщина кивнула в сторону Генки, — Нона Ивановна.

Старик ещё что-то хотел спросить, но хозяйка поторопила:

— Дома поговорим. Намёрзлись уж, хватит.

А за столом, куда старик Виноградов выставил из рюкзака бутылку красного виноградного вина, а хозяйка — самодельного из черноплодной рябины, договорились до таких чудес, что и спустя время, Геннадий Грудинкин не мог прийти в себя от удивления. Нона, как выяснилось, дочка той девушки Тони, на которой в молодости Арсений Петрович собирался жениться. Тоня не дождалась его из армии. Но всю жизнь помнила своего первого жениха и дочке Ноне о нём рассказала. Старик Виноградов слушал хозяйку, наклонив голову, навалившись грудью на стол. А потом спросил неожиданное: не продаётся ли в Озерках какая развалюха? Он бы не прочь здесь обосноваться, временно или постоянно — время покажет. А Нона попросту ответила:

— А вы живите пока у меня, вместе повадней будет!

Ну не легкомысленные ли старики? Но этот вопрос Геннадий Грудинкин задавал себе уже скорее по привычке. Он ликовал, что у него есть друзья, хоть немного и чудные, но признавшие его своим и даже, может, родным. Провожая, звали приходиться в Озерки в любое время дня и ночи.